

В.А. Тишков

КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ ПРОСТРАНСТВА*

*“Были дали голубы,
Было вымысла в избытке”*

Булат Окуджава

“Нет ничего в пространстве, чего не было бы в культуре”

Владимир Каганский

После выхода в свет специального номера журнала “Отечественные записки” (2002, № 6), посвященного проблеме “Пространство России”, заданный его авторами уровень обсуждения накладывает особые обязательства. Нет сомнения, это блестящее собрание специалистов самого разного профиля (в основном географы, философы и социологи) рассмотрело столь необъятную и сложную проблему по-настоящему научно, хотя многим отечественным философам и публицистам, включая некоторых авторов “Отечественных записок”, трудно избавиться от онтологизированной схоластики – родимого пятна российского общественнознания. Не было бы этой публикации, я, скорее всего, так и не собрался бы написать доклад для конгресса этнографов и антропологов России¹.

Тема представлялась необъятной и в то же самое время довольно заброшенной. К тому же обзорная статья ведущего западного специалиста по антропологии пространства Эймуса Рапопорта в известной “Энциклопедии антропологии” под редакцией Тима Ингольда производит тягостное впечатление своей усложненностью и игнорированием междисциплинарного контекста. Дело даже не в незнании достижений ряда национальных школ, например, тартуской семиотической школы в СССР, а в игнорировании того интеллектуального багажа, без которого сегодня уже невозможно обсуждать проблемы пространства в гуманитарном ключе. Например, без работ французского историка Фернана Броделя, французских философов и социологов Пьера Бурдьё, Мишеля Фуко и Анри Лефевра, английского социолога Энтони Гидденса, английского географа Дэвида Харви, американского географа Эдварда Соуджера, швейцарского географа Бенно Верлена. В равной мере обсуждение культурно-антропологических проблем пространства России и в России невозможно без учета трудов таких современных российских авторов, как А.С. Ахиезер, В.Л. Глазычев, В.Л. Каганский, В.А. Колосов, Б.Н. Миронов, А.И. Трейвиш, А.Ф. Филиппов.

Что касается российской этнологии, то здесь сложилась особая, на мой взгляд, достаточно драматическая ситуация в проблематизации пространства. По стране продолжает расходиться кругами структуралистско-семиотическая интерпретация этнографического материала, которая охватывает так называемое *понимаемое пространство* или пространственные аспекты символических (идейных) сторон культуры. Сами же пространственные практики, или *проживаемое пространство*, где соединяются идеи и действия, фактически не изучаются и не объясняются. Структура индейского мифа или идея мирового древа и мировой пещеры этнографу кажутся важнее, чем интерес к практикам освоения и использования пространства в разных обществах и в разных средах. Если же речь идет о современной российской жизни, то семиотика жилища в традиционной культуре под влиянием работ Н.Л. Жуковской, А.К. Байбурина стала одной из любимых тем у провинциальных этнографов (особенно в республиках). Количество работ по этой теме превосходит количество усилий, направленных

* Доклад, прочитанный на пленарном заседании V Конгресса этнологов и антропологов России.

на объяснение того, в чем состоят культурные смыслы российского пространства и пространственных практик россиян, а также какие символические значения пространства мы все переживаем в повседневности. Российские пространства – от подъездов многоквартирных домов и бетонных заборов до дебатов о продаже Аляски и принадлежности Курильских островов – пока не осчастливлены аналитическим взглядом представителей нашей профессии. Так что есть о чем говорить и над чем задуматься. Тем более, что спрос на вопросы и ответы по данной теме сегодня в России как никогда высок.

Издатель и главный редактор журнала “Отечественные записки” Татьяна Малкина справедливо пишет: “Любая даже самая поверхностная попытка изучения российского пространства со всем тем, что на нем растет, водится, залегаёт, живет, умирает и мыслит, немедленно обнаруживает основную проблему этого самого пространства: оно себя совсем не знает. Пространство России – малоизученный и сам собой не понятый объект”².

Пространственная организация и современные проекции

Поскольку в последние десятилетия в мировом общественном сознании пространственными аспектами культуры и культурными аспектами пространства занимались сотни специалистов, у нас нет возможности сделать даже краткий обзор этих работ. Однако выделим некоторые наиболее важные моменты. Итак, разные дисциплины изучают пространственную организацию. Начнем с более простых и знакомых для российских этнографов сфер и тем.

Поведенческая экология (зауженный российский вариант – это так называемая этническая экология) изучает взаимосвязь пространственной организации, территориальности, расселения, ресурсов и поведенческо-культурных норм. Социальная экология и особенно ее раздел – городская экология – изучают распределение и взаимодействие в пространстве человеческих популяций и групп населения, включая этнические общности и общины. Особенно плодотворно эти проблемы изучаются различными направлениями современной географии (экономической, социальной, исторической, политической, культурной)³.

Диахронное изучение человеческих пространственных организаций осуществляется в археологии, которая имеет дело с пространственным распределением разного рода артефактов⁴. Археологический материал имеет пространственные смыслы и образцы и тем самым содержит информацию о социальной организации, иерархии и статусе, ритуале и религии, представлениях. Собираение и анализ такой информации подчинены пониманию человека и человеческих сообществ, в том числе пространственных аспектов человеческой культуры. В основном это изучение происходит с позиции внешних обозревателей, но целый ряд исследований направлен на выяснение эмпирических аспектов пространства, т.е. выяснение тех значений, которые придавали и придают пространству представители изучаемых культур.

В социально-культурной антропологии изучение пространственных категорий в культуре занимает важное место. Французский ученый А. Леруа-Гуран, одним из первых обратившийся к пространственным характеристикам элементов материальной культуры, в частности к значимости их протяженности или объемности, а также к вопросам различий восприятия пространства в разных культурах, при разных способах жизнеобеспечения, писал, что для раннего охотника и собирателя мир линейен, значение имеет не поверхность земли, а маршрут перекочевки – по тропе, вдоль речной долины, по берегу водоема и т.д.⁵ Эти соображения позднее нашли плодотворное развитие. Так, О.Ю. Артемова разрабатывает понятие о *фокусном* восприятии пространства при охоте и собирательстве. У охотников и собирателей, в частности у аборигенов Австралии, практически не бывало территориальных границ в том смысле, что здесь земля наша, там – ваша, а между ними либо забор с колючей проволокой, либо нейтральная полоса, либо оба предела вместе. Очерченные тем или иным способом прост-

ранственные пределы – это скорее признак земледельческих культур, причем имеющих более или менее сформировавшиеся властные структуры.

Вместе с тем территории проживания ранних охотников и собирателей контролировались и имелись четкие представления о связи определенных людей с определенными участками земли. Права людей на ту или иную территорию как бы фокусировались в некотором количестве “точек”, т.е. мест, отмеченных характерными природными признаками или обладающих выраженной ресурсной ценностью. В то же время жизненное пространство отдельной личности не ограничивалось доменом его родственной группы. Человек (особенно мужчина) обладал огромным комплексом личных связей, позволявших ему проникать за пределы родной территории и в течение жизни осваивать гигантские пространства. Как говорили эвенки молодому западному этнографу Дэвиду Андерсену, “старика ездил везде”⁶. Географический кругозор древнего охотника был гораздо шире, чем нам представляется.

При земледелии сформировался *концентрический*, круговой способ восприятия пространства. Земледелец воспринимал мир концентрически, его деревня – это центр, поля и выгоны – ближайший концентр, лесные угодья общины – второй концентр, дальние пространства – третий концентр. Это восприятие сохраняется по сегодняшний день в сельской местности, особенно в мало- и в среднемодернизированных обществах. В 1980-е годы мы с сыном осваивали Мещеру после покупки деревенского дома в Спас-Клепиковском р-не Рязанской обл. Хороших карт для рядовых советских граждан тогда не существовало. Приходилось каждый раз расспрашивать, как проехать к тому или другому озеру, где можно было бы порыбачить. И каждый раз мы получали путаные объяснения. Местные жители, особенно женщины, совершенно не умели объяснить дорогу, хотя жили в нескольких километрах от какого-нибудь места. Здесь прослеживается явное отличие “географической тупости” земледельцев от пространственной осведомленности охотников и скотоводов-номадов.

А. Леруа-Гуран сделал еще одно важное наблюдение – это архетипическое стремление моделировать большое пространство в малом. Соответственно, он отметил существование разных типов городских поселений, прежде всего городов концентрического типа и городов типа шахматной доски. В обоих случаях город строится как модель мира. Это наблюдение подтверждается топонимикой современной Москвы – типично концентрического города: гостиницы носят названия крупнейших столиц мира, на севере преобладает топонимика северной части России, на юге Москвы – Севастопольский проспект, Симферопольский бульвар, Каховская и Одесская улицы и т.д. Завоеватель с глобальными амбициями Тимур назвал пригороды своей столицы Самарканда именами мировых столиц того времени – Лондон, Толедо, Париж (последний под именем Фариш существует и сегодня). Данное наблюдение можно отнести к категории значимых, но излишних обобщений, ибо непродуктивно искать во всех городах “модели мира”. Однако важен сам принцип, что города и другие “центры” впитывают и отражают присущее данной культуре отношение к пространству.

В российском обществознании проблему культурного пространства плодотворно разрабатывали филологи, фольклористы, лингвисты, литературоведы, особенно сторонники семиотического метода (В.В. Иванов, Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов, В.Н. Топоров). Предметом изучения у них чаще всего является пространство в мифе, былинке, сказке, эпосе, авторском художественном произведении, искусстве⁷. Из современных этнографов наиболее убедительно метод тартуской семиотической школы был использован А.К. Байбуриным при изучении пространства в традиционной культуре⁸. Еще ранее историко-культурологический подход был изложен в книге А.Я. Гуревича о категориях средневековой культуры⁹. Эти работы оказали влияние на многих этнографов, которые стали заниматься так называемым этническим пространством культуры. В работе Н.Л. Жуковской содержится глубокий анализ пространства и времени как категорий традиционной культуры монголов¹⁰. Коллектив новосибирских авторов (Э.Л. Львова, И.В. Октябрьская, А.М. Сагалаев) выполнил обширное исследование по мировоззрению тюркских народов Южной Си-

бири, в котором уделено большое место проблеме пространства и времени¹¹. В последние годы стали выходить работы, в которых то или иное явление рассматривается на фоне этнического пространства, или же термин *пространство* используется как эквивалент понятия *традиционный мир*¹². Работы Ю.Ю. Карпова о “женском пространстве” в культуре народов Кавказа – это уже не только идеи о пространстве, но и жизненные практики, а серия книг об этноархитектуре населения Южного Дагестана С.О. Хан-Магомедова – это уже анализ достаточно жесткой пространственной практики в сочетании с идеальным миром¹³.

В нашем докладе мы ставим целью рассмотреть проблему пространства в более широком теоретическом и в междисциплинарном контексте, который задается социально-культурной антропологией, изучающей не только этничность и так называемую традиционную культуру. Как и в случае с докладом о восприятии времени на прошлом конгрессе, наша задача – преодолеть игнорирование современности в отечественной этнологии и научиться видеть архетипическое и культурно значимое в окружающем нас сегодняшнем мире.

Теория культурного пространства

Пространство представляет собой самоочевидную концепцию, и его философское осмысление имеет давнюю и фундаментальную историю¹⁴. Однако, как пишет А. Филиппов, “кто намерен писать о пространстве, того подстерегают теоретические ловушки. Кто попадет в такие ловушки, тот совершает также и практические ошибки. Практические ошибки – это ошибки в понимании реальности и в планировании действий, относящихся к реальности... Действие в пространстве не безразлично к теориям о действиях в пространстве, а значит, и теории о действии в пространстве имеют социальное и социологическое значение”¹⁵. Я мог бы привести длинный список таких ошибок и неадекватных реакций в силу плохого осмысления, но ограничусь всего лишь одним современным примером, демонстрирующим несостоятельность крайне популярной среди историков, геополитиков и географов парадигмы “Россия как империя”. На мой взгляд, имперская объяснительная модель представляет собой одну из постфактических рационализаций ситуации после распада СССР и в силу своей надуманности крайне уязвима. По мнению же наиболее яркого пропагандиста имперской концепции, она основывается на “особенностях нынешнего пространства России, производных от имперских функций и доминант”¹⁶. Теоретик российского пространства Владимир Каганский настолько увлечен данным концептом, что даже не допускает мысли о его уязвимости: “Сомнений в данности России как империи нет, независимо от того, является ли империя прошлым или настоящим страны, структурой сегодняшнего пространства или остаточного-реликтовым и идеологическим способом обустройства жизни, реальностью или только действующим символом (недействующие символы – не символы) в дискурсе ментальностей. Проблема империи для сегодняшней России – это реальная проблема трансформации страны в ходе неизбежной (желательной или ужасающей) утраты колоний и переустройства всего пространства и всей жизни. Признание темы империи значимой неизбежно привело бы к осознанию необходимости управлять трансформацией империи, формированием постимперского пространства, в том числе и посредством деколонизации собственной территории (а происходит – ее вторичная автоколонизация). Делать вид, что Россия не имеет значимых имперских структур, – безответственность или невменяемость, как и проекты превращения России в национальное государство, при том что не существует доминирующей этнической группы, как нет ведущей профессии или конфессии”¹⁷.

Не будем обсуждать последнее крайне поверхностное замечание, ибо Россия – состоявшееся национальное государство, как и все другие принятые в ООН государства мира (“ненациональные” государства нам не известны, а “многонациональные” государства – это те же многоэтнические национальные государства, из которых, собственно говоря, и состоит мир)¹⁸. В России есть доминирующая этническая группа – русские

(как ханьцы в Китае или кастильцы в Испании), в ней есть доминирующая конфессия – русское православие (как англиканская церковь в Англии при миллионах проживающих там мусульман), наконец, есть и “доминирующая профессия” – философствующие публицисты, которые узурпировали пространство гуманитарного знания. Этим последним, пожалуй, только и отличается Россия от других “национальных государств”, ибо мне не известны другие страны, где бы ученые-гуманитарии устроили такую саморазрушительную “теоретическую кашу” по поводу достаточно простой проблемы, что есть так называемое национальное государство.

Что требует действительно критической реакции, так это заполонившие общественно-политический дискурс идеальные конструкции на тему “империя”, которые на самом деле не так уж безобидны. Безответственные и невменяемые действия “беловежского люда” (выражение Г. Павловского) также строились на тезисе “сбрасывания колониального бремени” и именно того самого поиска Владимиром Каганским “естественного и оптимального соответствия государственной территории и страны”, “приближение к которым возможно отнюдь не путем увеличения”¹⁹. И опять неудачная историческая параллель с Германией, которая, “утратив огромные территории (автор называет “германские государства” – Австрию, Люксембург, Швейцарию и Лихтенштейн и “некогда очевидно германские территории” – части Польши, Чехии, Франции, России, Дании, Литвы, Бельгии и Италии. – *В.Т.*), смогла решить мучительную проблему обретения такой территории, которая отвечает устойчивости германского государства”²⁰. Если бы автор посмотрел на карту (прото)государственных образований Европы XVII в. (такая карта-древо “первых наций” имеется в книге английского этноисторика Э. Смита “Этническое происхождение наций”²¹), то обнаружил бы, что в “оптимальном уменьшении” для “устойчивости” нуждаются все нынешние “национальные государства”, а уж тем более такие, как Великобритания, Франция, Италия и Испания.

Уязвимость имперской парадигмы России состоит в том, что если завтра от Китая отпадет многоэтничный и почти мусульманский Синьцзян, а южные меньшинства также начнут борьбу за “национальные государства”, то окажется, что современный Китай – это тоже “классическая империя”, а не “национальное государство”. Точно такие же рационализации окажутся подходящими для Испании, Индии, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Турции и десятков других крупных стран, включая все африканские. И вообще, при лучшем знании внешнего мира окажется, что искомой оптимальности никогда не было, как нет ее и сегодня. Иначе Германия не затевала бы в XX в. две войны, а ныне она не стала бы отказываться от Калининградской обл., если отечественные “оптимизаторы” предложат помочь России обрести таким образом свою “устойчивость”. Что-то здесь не так с пространственным восприятием России. Тонкие и важные связи между понятиями “страна”, “государство”, “территория” действительно существуют, в том числе и прежде всего в сфере осмысления и осмысленного “действенного отношения”, но эти связи и их осмысления лежат где-то в иной плоскости. Кстати, науке они хорошо известны, о чем говорят другие материалы упомянутого специального выпуска журнала и многочисленные исследования зарубежных коллег, включая философов.

“Что такое Франция?” – так озаглавил одну из своих работ Ф. Бродель. Отвечая на поставленный вопрос, автор писал, что историко-культурное разнообразие было и сохраняется в этой стране (я бы добавил, что в последние десятилетия культурное разнообразие всех развитых стран увеличивается), а органическое единство Франции (часто воспеваемое как в самой стране, так и российскими завистниками) – это не более чем совместный труд правителей и историков и общепризнанная (сконструированная и навязанная) метафора²². Так почему же подобное не может быть применимо к России? Не нужно ничего “строить”, “формировать”, “трансформировать”, “оптимизировать”. Следует переключить ряд ментальных винтиков, чтобы перестать отрицать Россию как состоявшееся настоящее, и таким образом избавиться от поистине танталовых мук осознания “пространства России”. И здесь нашим философам и публицис-

там может пригодиться этнография как метод исследования, а также антропология больших сообществ, каким является российский народ. Правда, тут нас поджидают новые уловки и трудности.

В статье молодого исследователя Александра Бикбова я нашел зрелые теоретические рассуждения о социальном пространстве, которые иллюстрируют трудность изучения больших сообществ. «Чем обширнее объект, захватывающий обыденное пространство и воображение, тем сильнее соблазн мыслить его естественно – как органическое или физическое единство. И чем глубже это единство погружено в напряженное течение политической борьбы и акробатику господства ее участников, тем тщательнее оно ограждается от лишних вопросов и размышлений. Естественность – центральная иллюзия господства. Она мягко пропитывает всю сложную ткань социального порядка, размывая социальные различия и скрывая их под общей поверхностью однородного и протяженного монолита: нация, традиция, территория, стабильность, неделимость... Обыденный рассудок спонтанно воспринимает сложное как природное, а политическое господство усиливает его своим интересом, изначально выраженным в различиях между жреческим знанием и знанием для профанов»²³. Я бы добавил, что "усилителем" восприятия внешнего или дальнего "органического целого" может быть не только политический интерес, но и степень информированности об этом дальнем и внешнем мире, например, о зарубежных странах.

Пояснение этого тезиса возможно на многих примерах, особенно на примере восприятия внешнего мира, который кажется заселенным монолитными "нациями" (в Китае – китайцами, в Испании – испанцами, в Пакистане – пакистанцами и т.д.). Свое, близкое (родные Башкирия или Дагестан и даже Россия) известно лучше в смысле частностей и сложностей, а вот другие общества воспринимаются как гомогенные. Аналогичная операция онтологизации происходит и с пространственными представлениями. А. Бикбов поясняет это на примере политико-географической границы, которая представляется в обыденном восприятии как нечто естественное и по поводу которой географическая морфология ("геополитика") выстраивает духовно-органические конструкции. На самом деле ни горы, ни реки, ни леса не содержат в себе естественной сущности границы, которую они неизбежно отдают политическому порядку. «Они воплощают лишь неоднородность пространственных протяженностей, которая в одних случаях используется (социально) как граница, а в других – вовсе нет. И если они выступают препятствием для физических перемещений, они остаются не более чем, пользуясь военным понятием, "рубежами", т.е. порогами политической экспансии и случайностью по отношению к тому политическому порядку, который, в свою очередь, является случайным по отношению к физической морфологии»²⁴.

Пример политического произвола по отношению к чистым пространственным формам – это государственно-административное деление, которое никогда не может отражать какой-либо "естественный закон" или четкий принцип, например, этнический состав населения или промышленно-экономическую целесообразность. Пространство Республики Башкирия было определено тем районом, который находился под контролем "красной конницы" Заки Валидова, а Карабах вошел в состав Азербайджана потому, что Нариманов послал телеграмму Ленину с угрозой перестать отпирать бензин в Москву, если будет решено по-другому. Точно так же обстоит дело и с пространственным формированием таких крупных политико-географических единиц, как государства. Как точно заметил А. Бикбов, "производящий территорию принцип заключен не в физических свойствах самой территории, а в политической борьбе и вписанных в нее военных победах и поражениях. С изменением политического баланса сил изменяются географические границы или, по крайней мере, возникает повод к их пересмотру. Иными словами, пространственные границы – это социальные деления, которые принимают форму физических»²⁵.

Такой подход оптимален при объяснении других сфер и категорий пространства. Невозможно отрицать (это хорошо исследовано в историографии и этнографии), что ландшафт и ресурсы пространства обуславливали многое в историко-культурной эво-

людии человеческих сообществ. Но наука не может скатываться на банальности в этом вопросе. Я уже писал о поверхностных оценках Н.А. Бердяевым внешнего мира²⁶, но этот же автор не менее банален и в оценке отечественного опыта. Сегодня я с горечью читаю многократно повторяемые и воспринимаемые в качестве откровений суждения Н.А. Бердяева о том, что русский характер сформировался под влиянием бескрайних российских просторов и что “русская душа подавлена необъятными русскими полями и необъятными русскими снегами”: “Ширь русской земли и ширь русской души давили русскую энергию, открывая возможность движения в сторону экстенсивности. Эта ширь не требовала интенсивной энергии и интенсивной культуры. От русской души необъятные российские просторы требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека и давали ему чувство безопасности. Со всех сторон чувствовал себя русский человек окруженным огромными пространствами, и не страшно ему было в этих недрах России. Огромная русская земля, широкая и глубокая, всегда вывозит русского человека, спасает его. Всегда слишком возлагается он на русскую землю, на матушку Россию”²⁷.

Кстати, Н.А. Бердяев всего лишь повторял утверждения историографии XIX в., которые встречались у многих самых известных авторов. Особенно популярны были рассуждения о просторах, определивших специфику русской истории и русского народа. Как писал И.Е. Забелин, “этот великий простор, в сущности, есть великая пустыня. Вот почему рядом с чувством простора и широты русскому человеку так знакомо и чувство пустынности, которое яснее всего изображается в заунывных звуках наших родных песен”²⁸.

В этой связи мне хотелось бы процитировать современного российского специалиста А. Филиппова, который хотя и самоидентифицировал себя когда-то как “наблюдателя империи”, но от этого не утратил пронизательности: «Лишь подозрительно наивные авторы и теперь еще станут писать о “власти пространств над русской душой”. Более просвещенные предпочтут, быть может, рассуждения о “власти русской души над пространством”. Несмотря на видимую замысловатость, обе формулы весьма просты и совершенно ложны. Первая говорит о том, что мягкая закругленность холмов, необозримость равнин и непроходимость лесов наложили существенный отпечаток на склад характера и особенности мировосприятия типичного русского человека. Вторая указывает на историческую и культурную обусловленность элементов ландшафта: а именно русский человек с его специфическим восприятием мира прирастил все эти скругленные и бескрайние территории. Великая тайна его продвижения скрыта во взаимосвязанных символах культуры, незыблемой в своей сердцевине. Она передается из поколения в поколение невменяемыми носителями, как из рода в род передают свои инстинкты живые твари»²⁹.

И хотя А. Филиппов считает, что первая точка зрения должна соблазнять только отсталых людей, ибо она устарела лет на 100, а то и 200, в зависимости от того, что считать последним крупным достижением – Г. Бокля и Ф. Ратцеля или И. Гердера и Ш. Монтескье, в российском обществоведении продолжают пышно цвести цветы географического детерминизма, причем не только в геополитике, где над упомянутыми выше именами властвует германский империалист и националист Карл Хаусхофер³⁰. В последние годы “этноландшафтные” работы выполняются “теоретиками этноса” с самых разных ракурсов, включая ссылки на генетические коды и психоментальности³¹. Однако зададим вместе с А. Филипповым вопрос: “И скольким поколениям типичных *нерусских* должно прожить среди холмов и равнин, дабы уподобиться типично русским? И почему так много нетипичных русских? И как это удастся ландшафту быть столь постоянным в своей культурно-творческой сердцевине, столь инвариантным на таких просторах? И что происходит с народом по мере продвижения его самых типичных представителей то в степи, то в леса, то в горы?”. И ответим на этот вопрос столь же заостренно: “У географического (климатического и проч.) детерминизма есть достоинство: вечная правда простой схемы, под которую можно подверстать хорошие наблюдения и плохие выдумки. Вряд ли оно искупает недостатки”³². Если я ро-

дился и вырос среди Уральских гор, то какой пространственный образ должен властвовать надо мной и какая конкретная ландшафтная среда должна быть для меня психо- и даже физиотерапией (если верить А.В. Сухареву и многим другим из числа этнопсихологов)? И на что в данном случае ориентироваться моей супруге, которая провела детство в д. Воробьевка, однако в этом пространстве сейчас остался только тополь, к которому были привязаны ее детские качели, а на месте деревни сооружен Московский дворец пионеров. А самое главное, после проживания в трех московских районах последние 8 лет мы живем рядом с тем самым тополем, но только жена не навестила его ни разу. При этом она всегда считала себя русской. Так как же связать ландшафт и рускость, а еще шире – географию и этнос? Ясно, что не так, как это делал Л.Н. Гумилев и его многочисленные эпигоны. А как?

И здесь прежде чем перейти к разбору ряда сюжетов, отметим еще одну общепило-софскую проблему. Это проблема восприятия и переживания пространства не только как несомненности, но и как результата выученного, концептуализированного взгляда. Сколько раз в жизни мы замечали, что разные люди видят (или не видят) разные вещи в пространстве и по-разному переживают, казалось бы, одну и ту же данность? Это случается не только с простыми людьми, но и с учеными и не только по поводу пространства. Дело в том, что представители замкнутой и инертной дисциплины “перестают различать язык науки и язык наблюдения, они буквально видят то, о чем говорят им их теории”³³. К таким дисциплинам можно отнести как географию, так и этнологию. Одни наблюдают в жизни “геотопы”, “лимесы” и прочие сомнительные теоретические конструкции, другие – рассуждают о жизни и смерти “этносов”, “пассионарных толчках” и прочих никем и никогда недоказанных “реальных” явлениях. Обозначенная проблема не может быть решена каким-то простым и единым способом, и А. Филиппов предлагает весьма тонкий выход из методологического тупика: “Переживание подлинности пространства – это единственное, что делает обращение к нему чем-то иным и большим, нежели исследование образов и схем пространства как частного случая в общей культурной картине мира. Но само это переживание подлинности может оказаться неподлинным, точнее говоря, противоположность подлинного и неподлинного рискует утратить смысл в той же мере, в какой не только физическая география, но и вообще любой более или менее внятный способ концептуализации местности может быть интерпретирован как социальный и культурный феномен”³⁴.

Все это означает, что сам принцип выделения тех или иных территорий по набору характеристик социально и культурно обусловлен. Ученый должен постоянно совершать акт рефлексии и не узурпировать пространство научного дискурса по поводу пространства.

Категории пространства

Напомним, нас интересует не просто физическое (объективное) пространство, а *конструируемая человеком пространственная среда* – своего рода физическое и ментальное выражение организации пространства человеком. Мы рассматриваем не просто природный ландшафт или – более широко – природную среду, что делают представители естественных наук, а обращаемся к осмыслению, конструированию и использованию пространства на разных его уровнях: от глобально-космического до частного и индивидуального. В субстанции пространства нас интересует уровень значений (смыслов), а также сама пространственная среда и ее изменения под воздействием человека: культурные ландшафты, поселения, здания и комнаты, организация интерьера и множество других визуальных проявлений пространственной организации. Однако в поле зрения социально-культурной антропологии находятся не только визуальные, но и воображаемые пространства. Все это составляет то, что можно назвать *культурным пространством*. Это не одно и то же, что *пространство культу-*

ры, которое мы не сможем рассмотреть в данном докладе по причине его ограниченных рамок.

Существует много разных категорий культурного пространства. Это собственно *геопространство*, организованное по-разному в разных культурных традициях: от абстрактного геометрического пространства в современных западных поселениях до организованного на принципе религиозной оппозиции профанного и сакрального в организации пространства во многих так называемых традиционных культурах. Можно говорить о *социальном пространстве*, в котором порядок обусловлен характером социальных отношений, групповой иерархией, формальными и неформальными связями, ролевыми факторами. Можно выделить *поведенческое пространство*, которое определяется разными диспозициями индивидуального и группового характера. Есть довольно широкая категория *психологического пространства*. Хорошо известно понятие *информационного пространства*, которое в последнее время дополнилось понятием *электронного пространства*. Наконец, можно говорить о *воображаемом пространстве*, которое столь же реально для тех, кто верит в ад, рай, подземный и другие миры или в существование Беловодья и Эльдорадо.

Любое рассмотрение данной проблемы должно включать не только “артефакты” пространственной среды – от парка до дорожного указателя, но также и самого человека с его деятельностью, потребностями, ценностями, образом жизни и другими аспектами культуры. Существует ряд изначальных вопросов при изучении данной темы. Какие особенности личности или коллектива оказывают воздействие на формирование и восприятие пространственной среды? Какие аспекты среды и в какой форме оказывают воздействие на человека и группы, и при каких обстоятельствах это происходит? Наконец, какие механизмы связывают эти две фундаментальные формы взаимодействия?

Культурное пространство включает взаимодействие четырех элементов: пространства, времени, смысла и коммуникации. Мне бы хотелось обратить внимание на организацию и использование геопространства. Но без учета времени, смысла и коммуникации рассмотреть эту сторону человеческой культуры невозможно. Как и без ряда ключевых понятий, одно из которых – категория *пространственной конфигурации (setings)*³⁵ или *кластеров пространства* в смысле культурно конструируемого пространственного смысла и ситуации. Это не одно и то же, что комната, жилище, здание, улица или городской квартал, ибо это не просто материальные константы, а понятие пространственной организации.

Кластеры пространства могут существовать как в непосредственном материальном воплощении, так и в историко-временном режиме на периодической и даже на регулярной основе, когда в рамках общеразделяемых ценностей или группового интереса создаются особые пространственные конфигурации. В качестве одного из множеств материальных кластеров пространства приведу самый “дальний” из мною наблюдаемых: во время путешествия по тайге канадской Субарктики – одному из самых нетронутых человеком природных ландшафтов – меня поразила придорожная площадка, организованная для возможной остановки на пикник, где даже контейнеры для мусора были подвешены на металлических цепях, чтобы этот мусор не разбрасывали другие владельцы данного пространства – медведи. Мы проехали мимо, но место это в пространстве тайги осталось существовать.

Кластеры пространства возникают и исчезают по мере смены пользователей с их разными смыслами. Как, например, улица и часть города Белфаста на протяжении столетий в определенный день года превращается в место проведения антикатолических маршей протестантов-юнионистов. Или как обычный подземный переход на Октябрьской площади в Москве по четвергам вечером становится местом встречи толкинистов и их общим пространством общения по поводу воображаемого ими мира. Случайному прохожему в этом вечерне-четверговом (здесь время и пространство жестко связаны, в отличие от примера с канадской тайгой) пространстве конкретного подземного перехода не ясно, ни где он оказался, ни что происходит. Мне пришлось

спросить молодых людей: “А что это за место?”, хотя я проходил по этому переходу десятки раз, но в другое время.

Кластеры пространства организуются под воздействием культурных установок и правил, в том числе и правил политико-идеологического характера. Культурные установки формируют правила, но и изменение правил ведет к изменению культурного смысла пространства. В один из моментов по постановлению городского правительства проспект, предназначенный для передвижения людей и автотранспорта, становится местом проведения массовой демонстрации или народного гуляния. Но даже постоянные нормы разнятся своим культурным контекстом, определяемым групповыми различиями на основе хозяйственной и социальной жизни, религии и этничности. Пространственная организация города или сельского поселения может не меняться веками, однако в разных культурах она значительно разнится. Меняющиеся насельники меняют или приспособливают культурные смыслы. Одно и то же сооружение из церкви становится концертным залом или складом, а потом снова церковью.

Потрясающий контраст наблюдался мной в Иерусалиме, где совсем по-разному организованы уличное пространство и его использование в еврейской и арабской частях города. Менее разительные, но существенные различия есть между сибирским и южнороссийским городом, скажем, между Ростовом и Омском.

Кластер пространства не совпадает с индивидуальным жилищем, интерпретации которого могут содержать десятки пространственных смыслов и конфигураций. При этом архитектура жилища может разниться, а пространственные смыслы быть сходными что в трехэтажном особняке, что в монгольской юрте. Но может быть и наоборот – внутрипространственные культурные смыслы меняются, а архитектурное мышление и исполнение остаются в старой традиции. Так, до начала 1990-х годов почти все новые кирпичные дома в подмосковной д. Гжель и других деревнях строились по типу бревенчатой русской избы. Только в последнее десятилетие произошел прорыв в представлениях о жилом пространстве, и начали строиться дома более разнообразными и просторными. Здесь сказались влияние строительства коттеджей приезжими строителями, более солидные средства и широкий выбор доступных материалов, а также впечатления от увиденного. Напротив моего дома в д. Алтухово “рязанский дачник” соорудил над купленным им полуразрушенным кирпичным домом дореволюционной постройки крайне причудливую крышу. Когда я спросил, почему именно такая крыша, он ответил, что ездил в Англию и там видел много домов с подобными крышами, и ему они очень понравились.

А совсем недавно я спросил соседку по подъезду, почему она не уехала на майские праздники на свою новую дачу, и получил такой ответ: “Грузины какие-то строили и соорудили скворечник, по которому я и забираться не могу. Надо было нанимать русских или украинцев, чтобы построили ровнее, а не горную саклю”.

Смыслы определяют архитектуру и более широко – они воспроизводят человеческую пространственную среду. В современных просторных особняках и квартирах многие российские граждане продолжают жить главным образом на кухне, как когда-то во времена крайне ограниченного жилья. И дело тут даже не в размерах, а в ценностных установках: кухня как место трапезы и простоты кажется удобнее, чем украшенное, но “холодное” пространство “жилых комнат”.

Пространственные смыслы гораздо более изменчивы, чем жесткая часть пространства. Жилище трудно перестроить или сменить, однако наполнить его новыми смыслами гораздо легче. Примеры на этот счет могут быть бесконечными. Более того, перестройка жилого пространства под “восточный”, “европейский”, “русский” и иные стили стала уже бизнесом, а архитекторы-дизайнеры старательно изучают этнографические труды. Будучи в своей основе стилизацией, она сохраняет культурный смысл и существенно определяет жизнь человека.

Пространственная и временная организации³⁶ носят самостоятельный характер, но чаще они неразделимы и даже могут замещать друг друга. Так, например, избегание может быть достигнуто или жесткой организацией временного графика, или прост-

ранственным разделением. Наиболее изощренные культурные формы использования раздельного и общего частного пространства можно было наблюдать в культуре советских общежитий и коммунальных квартир³⁷. Эта традиция еще сохраняется и заслуживает своего этнографического изучения, как и в целом советская традиционная культура.

Факторы и смысл движения людей в пространстве

Что движет людьми в геопространстве и каков культурный смысл этого движения? Разные факторы определяют и разный характер перемещения отдельного человека и человеческих коллективов. Самым ранним и самым значимым является движение за ресурсами, а также в результате природного воздействия (потепление, опустынивание, засухи и т.п.). Ранние перемещения человеческих коллективов – первобытных охотников – за зверем и другими источниками пищи достаточно хорошо описаны, хотя археология приносит все больше и больше новых материалов и предлагает более тонкие и богатые объяснения³⁸. Наиболее масштабные перемещения людей в ранние исторические эпохи были вызваны крупными климатическими изменениями. Со времени появления ранних государственных образований и организованной силы для захвата добытых ресурсов или средств их добычи (пленники и рабы) передвижение в пространстве и контроль над пространством стали гораздо более интенсивными и культурно осмысленными. Следующий качественный этап в характере пространственных перемещений глобального масштаба – это воздействие рынка и торговли, появление золота и других всеобщих мер стоимости. На смену им пришло время религиозных и трудовых миграций. Новейшее время связано с приватизацией человеком пространства и с признанием почти на уровне международной нормы того, что “право на территорию путешествует вместе с человеком”. Стремление к комфорту становится важнейшим движущим фактором, и человек принимает решение, чаще руководствуясь не внешними предписаниями, а частным интересом (“рыба – где глубже, а человек – где лучше”).

Однако далеко не всё в феномене пространственного перемещения обусловлено социальными факторами. Например, современная наука пришла к выводу, что в истории человечества была не одна, а много эпох Великих географических открытий. Отдельными людьми и человеческими коллективами в определенном ареале и в определенные эпохи могла овладевать страсть к раздвиганию своего пространства, к выходу в неизвестность. Только экономической детерминантой или другими утилитарными мотивами этот феномен не объяснишь. Удивителен пример полинезийцев. Что влекло их на почти бесплодные острова, подверженные ураганам, либо туда, где имелись вулканы? Они плавали в разведку, примерялись, прежде чем переселяться. Возвращались, чтобы взять жен, детей, кур, свиней, собак, ямс, таро, кокосы, керамику. Пробовали жить на одних островах, не нравилось – переплывали на другие. Они явно хотели быть сами по себе, без других надоевших им соплеменников.

Не менее интересен культурный смысл российской колонизации Сибири. Здесь были не только “каторга и ссылка” и не только коммерческий драйв золотопромышленников и охотников за пушным зверем. Не все определялось “северными надбавками” и “всесоюзными комсомольскими стройками” и в более поздний период советского освоения сибирско-колымского пространства. Было и есть что-то еще другое, выраженное в ответе первого покорителя Эвереста. На вопрос, зачем он поднялся на эту гору, он сказал: “Потому что она там есть” (because it’s there). Те же русско-устыинцы предпочли вечную мерзлоту и хлеб из рыбной муки государственному общежитию. Зачем после окончания МГУ я поехал в Магадан? Не только за должностью старшего преподавателя в вузе и за более высокой зарплатой. Было что-то другое, что мне трудно объяснить спустя 40 лет после того судьбоносного решения. Таким образом, стремление к познанию неведомого или исход от привычного и надоевшего вполне могли быть культурными факторами геопространственных перемещений среди части

людей и коллективов в самые разные эпохи истории. Я уже не говорю о религиозно мотивированных перемещениях в новые земли в целях сохранения чистоты своей веры.

Мои наблюдения постсоветской эмиграции подтверждают наличие этого глубинно-культурного фактора. Хотя в основе отъезда из России в 1990-е годы лежали прежде всего соображения материального плана, будь то российские немцы или евреи и греки, тем не менее среди эмигрантов имела категория людей, которые уезжали из открывшегося общества в стремлении “повидать мир” без определяющей установки улучшить свое существование. Сегодня “бродяг” из числа россиян можно найти в самых экзотических странах мира. Я не психолог, но подозреваю, что в первой волне постсоветской эмиграции было много людей, которые реализовывали отложенную мечту (посетить Иерусалим, увидеть Рим, пожить в Париже и т.д.), т.е. они делали то, что хотели, но не могли сделать в более молодые годы. Неслучайно поток эмиграции стал иссякать по мере роста обычного зарубежного туризма (а не только потому, что “все, кто хотел, уже уехали”).

Почему важно знать глубинную культурную основу пространственных перемещений? Чтобы совместить некоторые расходящиеся интересы частного человека и общества в лице государственного коллектива. Так, например, российское государство и общество в целом заинтересованы в двух пространственных векторах внутренних миграций: в малозаселенное и стагнирующее село центральной части России и в восточные и северные районы, нуждающиеся в более интенсивном хозяйственном освоении. В советский период действовали факторы как прямого, так и косвенного принуждения, включая фактор пропаганды. После распада СССР и с либерализацией политического режима роль частного выбора возросла, но это далеко не всеми осознавалось и учитывалось. В правительстве Е. Гайдара были люди, которые планировали использовать ожидаемую “репатриацию соотечественников” для подъема сельской глубинки, а в “стратегическом центре” Г. Бурбулиса был сочинен документ под лозунгом “пришло время двигаться на Север”, в котором вполне серьезно рассматривался план масштабного заселения северных территорий по причине утраты страной ее южных районов. Оба плана оказались чистой утопией, ибо миграционное движение в России определялось двумя более мощными притягательными факторами: городскими агломерациями и климатически более благоприятными зонами проживания.

Элементы антикультурной стратегии в области миграционной политики обнаруживаются и в современных установках российских властей определять место жительства новых иммигрантов там, где это выгодно государству. В принципе это возможно за счет создания квот, преференций и субсидий, но только частично и только на короткий период первозаселения. Исходя из тенденций, которые изучает современная городская антропология, стремление людей жить в крупных агломерациях является доминантой миграционных стратегий. Тем более что в России такие агломерации еще только складываются, и кроме центрально-московской – других нет, а в Сибири и не предвидятся в ближайшие два-три десятилетия. Поскольку сочетание эффективного производства и социального комфорта возможны только в крупных людских сообществах с краткими пространственными перемещениями, будущее Сибири в этом плане крайне неясно.

Обозначение и центрирование пространства

В своем культурном багаже человеческие коллективы имеют особые и разнообразные механизмы выбора и обозначения пространственного места, организации пространства за счет его разного использования и установления определенных прав над частью пространства, будь то территориальные участки, пограничные линии или коммуникационные пути. В определенном смысле человечество есть всего лишь распределенные в пространстве людские группировки, из которых в современном мире наиболее значимые и пространственно очерченные – это государственные сообщества.

Хотя сами группы есть во многом воображаемые сообщества, в том числе и условные множества по признаку культурного сходства или самоидентификации, как, например, русские или татары, они очень часто наделяются свойствами социального субъекта и субъекта права. Для сообществ с одинаковой этнической идентификацией сделать это чрезвычайно трудно, хотя в российской науке и в политической практике это делается сплошь и рядом: “народы” могут депортировать, реабилитировать, создавать им “свой” государства, придумывать представителя в парламенте и т.д. Для сообществ, определяемых прежде всего пространственным принципом, субъектность устанавливается гораздо легче, ибо членство в территориальном коллективе оформляется более жестко – через гражданские паспорта, прописку, общинные реестры и т.п.

При всей условности групповых образований именно группы, а не отдельные индивиды конструируют смысл занимаемого ими географического пространства. Неслучайно, путешественники-первооткрыватели новых земель и племен связывали название того или иного геопространства с названием проживающих в нем людских сообществ. Что от чего происходит, определить во многих случаях достаточно трудно. Но чаще людские названия (самоназвания) становились названиями стран и мест, а не наоборот. Неясность пространства и отсутствие сведений о народах обозначались словом “Тартария” не в смысле земля, где живут татары, а в смысле “Барбария”, т.е. земля варваров.

Осмысленное пространство (например, Россия) потому и существует, что есть людское сообщество, члены которого (не обязательно все до одного и в равной степени) считают себя принадлежащими к данному пространственному сообществу. Это означает, что, если нет сообщества людей, считающих себя жителями определенной страны, то нет и самой этой страны как смыслового, а не географического пространства. Если бы не было тех, кто считает себя россиянами, то не существовало бы и пространственного понятия “Россия”. Но есть и обратный процесс, когда инерция обозначения формирует идентичность. Каждое новое поколение россиян познает и признает свою “Россию” как бы заново, но эта осмыслительная и опытная процедура основывается на уже зафиксированном образе прошлых поколений и на памятниках материальной среды. То же происходит и с другими пространственно обозначенными воображаемыми сообществами. Так, людское сообщество в местах, называемых Москвой, Омском или Нью-Йорком, превращается в москвичей, омичей и нью-йоркцев потому, что прежде всего существуют сами эти места. Но это только начало процесса идентичности горожанина, его отправной “физический момент”. Чтобы его запомнили и о нем не забывали, он обозначается уже на *границе пространства*, например, крупной надписью “Омск” при въезде в город или в аэропорту. Далее идут миллионы подобных отсылок: сколько раз физически фиксируется и устно упоминается слово “Омск” и производные от него слова на соответствующей территории подсчитать невозможно, но чем чаще, тем сильнее ментальная связь с данным пространственным местом. Сегодня трудно себе представить людские местоположения без таких обозначений.

Подобные обозначения содержат много характеристик – исторических, властных, романтических, амбициозных, курьезных и прочих. Одним из самых значимых является местоположение по отношению к “центральному месту”: “рядом с Москвой”, “100 километров от Омска” и т.п. Вообще центрирование пространства – культурная характеристика. Люди и коллективы склонны видеть себя “в центре” по отношению к окружающему (именно как “круги вокруг”) пространству, особенно в случаях политических (государственных образований). Наиболее яркие метафоры узурпации статуса мировых центров – самообозначение китайской “Поднебесной империи” как центра Вселенной или трактовка России как “третьего Рима”.

Центры появляются и существуют в среде человеческих сообществ как своего рода метафизические необходимости: они служат узлами связей, местами защиты и управления, они формируют каркас обитаемой территории, придают ей определенную конфигурацию. Таким образом, трудно вообразить, чтобы заселение и использование пространства шло без процесса центрирования. Однако культурное осмысление и ут-

верждение центра является необходимой чертой этого процесса. “Центр – периферия” – это отношения власти, и здесь необходимы усилия по утверждению статуса центра (только одни география или демография этого статуса не дают). Соперничество за центр особенно заметно на уровне больших коллективов: стран и регионов, ибо в этом случае речь идет о крупных дивидендах. Центру отводится роль витрины и символа своих стран, тут концентрируется элита и капитал, здесь почти всегда имеет место опережающее развитие. Обычно центрами являются столицы государств, но во многих странах ситуация иная. В Канаде такие центры – это прежде всего Торонто и Монреаль, а не Оттава, в США – Нью-Йорк, в Германии и Швейцарии – ? То есть возможно многоцентричное существование больших пространств и разделение функций центрального места: “деловая столица”, “культурная столица” и т.п.

Часто за этим стоят неоправданные амбиции и временные узурпации (пока президент страны из нестоличного города, этот город может стать “культурной столицей” или даже вообще “второй столицей” страны). Но эта неоправданность и узурпация есть средство соперничества, без которого сама “столичность” и утверждение ее статуса невозможны: если москвичи не будут считать себя жителями столичного города и если это не будет повседневно демонстрироваться, тогда Москва будет столицей по “бумажному декрету”, а не по самоидентификации и по признанию. В этом соперничестве центров присутствует много культурно-психологических и символических характеристик: высокомерие и эгоизм, с одной стороны, зависть и неприязнь, с другой.

Историческая динамика пространственных сетей

Что определяет выбор локализации для человеческих концентраций, прежде всего для постоянных поселений и для миграционных путей? Конечно, человек овладевает пространством и контролирует его прежде всего для получения доступа к ресурсам жизнеобеспечения. Так было в самом начале человеческой эволюции, так остается и поныне. Однако движение, выбор, а тем более сохранение за собой пространства не всегда вызываются потребностями в ресурсах и условиями окружающей среды в целом. Во-первых, первоначальная локализация группы в пространстве может сохраняться и после того, как меняются условия окружающей среды, включая истощение ресурсов. Во-вторых, пространственная организация может и должна рассматриваться также с точки зрения статусности, власти, социальных связей, группового членства, а также в терминах культурных смыслов, которые выражаются в мифологии, ритуалах и символах. Некоторые ученые полагают, что именно последние факторы являются одними из основных для возникновения городов³⁹. Это, возможно, правильно, если учесть, что изначально символические и ритуальные места были обусловлены окружающей средой и ее ресурсами.

В этой связи мне представляется, что господствующая концепция появления сети главных российских городов на пути “из варяг в греки” может быть частично пересмотрена. Все историки и географы отмечают связь этих центров с ландшафтными рубежами и реками, с торговлей и славянской колонизацией. Но зачем исключать возможность связи конкретного выбора с ритуальной стороной жизни наших далеких предков? Во всяком случае большой интерес представляет точка зрения, что освоение российского пространства не обязательно шло по линии село – город. Скорее, наоборот: главная полоса расселения в России возникла как сеть городов без деревни. По В.О. Ключевскому, уже в IX в. страну Русь составляли не племенные, а *городовые области*. До XI в. русские князья не имели деревень и пашен вообще, а страна была именно “царством городов” (Гардарикой) среди крайне слабо заселенной местности⁴⁰.

Именно ранняя централизация (в смысле появления городских центров) сделала возможным создание системы административных ячеек – областей и краев, которые представляют собой наследников старинных земель с их городскими центрами. Как замечает Андрей Трейвиш, «В этой связи вызывают иронию официальные 50–60-летние юбилеи областей, имеющих по сути вековую историю. От исторических провин-

ций в Европе их отличают не племенное и заданное природой дисперсное заселение, а особое полисное устройство, моноцентризм, иерархия центров (младшие “пригороды” Новгорода). И на российских банкнотах мы видим не чьи-то портреты, не архитектурные символы, как на евро, а города, часто с дальними объектами-спутниками (Красноярская ГЭС и др.). В масштабе страны это точки; к ним она и редуцирована, являя образ страны-созвездия»⁴¹. Здесь явно сказывается влияние построений В. Каганско-го об имперской природе пространства России, а также об образе страны как промышленно-городской и столично-периферийной⁴², но сами эти наблюдения очень интересные.

И все же если Россия – это изначальная Гардарика, то почему существует столь устойчивый образ крестьянской страны до середины XX в.? Для этого есть свои причины. Во-первых, несмотря на учреждение и формирование сотен новых городов, городское население на протяжении веков отставало в росте от сельского населения и демографическое соперничество решалось в пользу сел⁴³. В XX век Россия вступила с 13% городского населения. Ситуация изменилась только в результате советской индустриализации, причем изменилась стремительно, и к 1980 г. СССР догнал Запад по доле городского населения. Однако в последние 20 лет источники роста городских ареалов (агломераций) стали истощаться. Как известно, перепись 2002 г. дала следующие данные: по сравнению с 1989 г. численность населения в городах и на селе немного сократилась примерно в равной пропорции и доля городских жителей почти в 3 раза больше, чем сельских (73,3 и 26,7%).

Во-вторых, аграрный облик России формируют слишком большие пространства между городами: в начале XX в. среднее расстояние между городскими центрами было 60–85 км в основных районах Европейской России, 150 км – на Урале и 500 км – в Сибири. К началу XXI в. эти расстояния сократились в 2 раза. В то же самое время центр Европы уже около пяти столетий покрывает сеть городов, отстоящих друг от друга на 10–20 км⁴⁴. Все это делало трудным связь крестьянина с городом и заставляло деревню быть универсальной в смысле самообеспечения, вплоть до собственных ярмарок⁴⁵. Такая ситуация сохранялась и на протяжении всего XX в. Мой сосед в д. Алтухово Иван Ефимович рассказывал о своем самом дальнем путешествии “на лошадах до самого Егорьевска одним днем в один конец” (это всего 75 км и на полпути моего маршрута Москва – Алтухово). Город Спас-Клепики был рядом (18 км), но местные жители городом его фактически не считали. Он и сегодня остается большим селом со статусом районного центра и с одной исторической достопримечательностью – техническим училищем, где учился Сергей Есенин.

Культурное пространство инертно и консервативно, и, как пишет А. Трейвиш, “по сути география учит тому же, чему история: перескакивать в пространстве не менее опасно, чем во времени”⁴⁶. В современную эпоху далеко не всегда ресурсы и география, и даже административная воля определяют выбор местоположения городов, особенно если последние имеют политико-символический смысл, как, например, столицы государств. Иногда это может быть желание реализовать уникальный градостроительный проект (город Бразилиа), иногда – стремление закрепить влияние одной этнической общности на территории, которая может оказаться местом, оспариваемым другими группами населения (столица Астана в Казахстане). Однако насколько удачны подобные попытки “обмануть” пространство, вопрос для серьезного размышления. В России городские центры сложились исторически и именно их сеть конструирует российское пространство, наполняя его историко-культурным, а не только экономическим смыслом. Она же служит главным средством организации и контроля пространства.

По моим наблюдениям, касающимся примерно трех десятков самых крупных городов страны, позволю себе сделать вывод, что в последнее десятилетие, несмотря на грандиозный отрыв московской агломерации, все эти города достигли очень заметных успехов в своем обустройстве. Их запоздалый старт в использовании возможностей реформ сейчас наверстывается энергией провинции в отношении главного цент-

ра. Возможно, это догоняющее скачкообразное развитие типично для стран глобальной полупериферии. На первом этапе преобразований произошло своего рода сжатие самого пространства, точнее, ресурсов модернизации в одном центре, но это стало своего рода образцом для подражания. Как общество не может обойтись без элиты, так и культурное пространство не может быть динамичным без развитых центров, ибо без них немислима развитая периферия. Здесь главное, чтобы эта новая динамика рыночной экономики и человеческих свобод не утонула в пространстве периферии, чтобы не произошел конфликт скоростей и конфликт пространств.

Некоторые специалисты уже отмечают этот опасный конфликт в феномене растущей поляризации культурного пространства России, которая проявляется в том, что в главных центрах доминирует работа со знаками и символами (политика, масс-медиа и др.), а в глубокой периферии – с вещами (производство или натуральное хозяйство). В центре жизнь зависит от курса доллара, в провинции – от погоды и урожая картошки и овощей⁴⁷. «В течение “переходного” десятилетия поляризация нарастала: центры пытались модернизироваться и монетаризироваться, а периферия нищала, забывала о деньгах, опускалась куда-то в глубь феодальных времен, во власть кормилицы-земли, кормильца-леса и их квазихозяев»⁴⁸. Это, возможно, слишком драматическая оценка (“глубинка” тоже стала ближе к деньгам, чем к феодализму прошлого⁴⁹), но суть ее от этого не меняется.

Пространственные границы и образы

Эти границы разделяют разные локальности и тем самым включают в себя социальные, когнитивные, символические и другие значимые для человека сферы. Анализ геопространственных границ важен с точки зрения их образования и упразднения, их функций, регулирования и защиты, проницаемости. Важно как границы помечаются и какие с ними связаны правила, ментальные смыслы и даже фольклор. У меня нет возможности в рамках доклада развить эту тему, но по проблеме территориальности и границ имеется достаточно богатая литература⁵⁰.

Один вопрос представляется важным, актуальным и пока не исследованным. Это формирование новых пространственных границ государственных образований после распада СССР. Повторю здесь только один сделанный мною ранее вывод о том, что в ментальности многих бывших советских граждан советское пространство будет существовать еще очень долго, а политические границы будут уважаться только при условии их достаточно открытого режима. Не менее интересен вопрос формирования пространственной идентичности по новым федеральным округам, которые были созданы во многом в противоречии с историко-культурной традицией. Поэтому едва ли когда-нибудь Оренбуржье и его жители будут восприниматься и идентифицировать себя как “Приволжье”, ибо на протяжении столетий это пространство осмысливалось как “южный Урал”. Равно как Калмыкия с трудом воспринимается как “Южнороссийский регион” вместе с Северным Кавказом.

Не менее интересен вопрос о том, как характеризуется географическое положение того или иного места и региона. Образ и способ такой характеристики во многом обусловлен взглядами характеризующего и тем самым имеет культурное значение, за которым скрывается многое, что не воспринимается обыденным взглядом. Специалист в области когнитивной географии Надежда Замятина, проанализировавшая сайты субъектов РФ в Интернете, отметила, что в этих характеристиках содержатся представления о самом характеризуемом объекте (то, что считают периферией, обычно ориентируют относительно крупного центра), представления о “нормальном” порядке вещей в пространстве, на основе которых указывают на необычность положения (если *за* полярным кругом, то обязательно упоминается, если *до* это как бы само собой разумеется, мысленная ориентация пространства с оценкой направлений (приграничный район может оцениваться и как окраина, и как “форпост державы”)⁵¹.

Под впечатлением этой работы я заглянул на сайт Омской обл., и вот результаты моего этнографического наблюдения в виртуальном пространстве.

Наиболее распространено указание на удаленность того или иного места от Москвы, что означает “невольное подведение под московский порядок” (во всех смыслах), их “периферизацию”. Трудно себе представить, чтобы то или иное место в США или Англии обозначалось как “расположен в 1500 километров от Нью-Йорка или в 500 километров от Лондона”. По классической теории центральных мест для Центральной России и тем более для Подмосковья такое соотнесение вполне оправданно, но для Омска или для Алтая оно уже переходит из ряда функциональных в разряд качественных характеристик. Региональных, или “кустовых”, столиц в России фактически нет, кроме, возможно, Санкт-Петербурга.

Примечания

¹ Ценное содействие в подготовке доклада оказали О.Ю. Артемова, А.А. Бородатова, Н.Л. Жуковская, которым автор выражает благодарность.

² Малкина Т. Контурная карта // Отеч. зап. 2002. № 6(7). С. 10.

³ См., напр.: *Перцик Е.Н.* География городов (геоурбанистика). Курс лекций (этапы развития городов). М., 1975; Роль географического фактора в истории капиталистических обществ (по этнографическим данным). Л., 1984; *Максаковский Я.Г.* Историческая география мира. М., 1997; Исторический источник: человек и пространство. Тез. докл. РГГУ / Ред. О.М. Медушевская. М., 1997. Культурный ландшафт. Вопросы теории и методологии исследования: Матер. семинара / Ред. В.В. Валебный, Т.М. Красавская. Смоленск, 1998; *Carter G.F.* Man and the Land. A Cultural Geography. N. Y., 1964.

⁴ См., напр.: Социально-пространственные структуры в стадийной характеристике культурно-исторического процесса: Тез. конф. / Ред. В.П. Гуляев. М., 1992; *Spatial Archeology*. L., 1977; *The Spatial Organisation of Culture* / Ed. I. Hoddez. Pittsburgh, 1978; *Space, Time and Archaeological Landscapes*. L., 1992.

⁵ *Leroi-Gourhan A.* Milieu et techniques. P., 1945; *Idem.* L'homme et la matiere. P., 1943.

⁶ *Андерсен Д.* Тундровики. Экология и самосознание таймырских эвенков и долган. Новосибирск, 1998. С. 136.

⁷ См., напр.: *Лотман Ю.М.* Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Тр. по русской и славянской филологии. Т. 11. Тарту, 1968; *Неклюдов С.Ю.* Время и пространство в былинке // Славянский фольклор. М., 1972; *Мелетинский Е.М.* Поэтика мифа. М., 1976; *Цивьян Т.В.* К семиотике пространственных элементов в волшебной сказке // Типологические исследования по фольклору: Сб. статей памяти В.Я. Проппа. М., 1975. Обобщающая эту сферу исследований статья: *Топоров В.Н.* Пространство // Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. С. 340–342.

⁸ *Байбурын А.К.* Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983.

⁹ *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972.

¹⁰ *Жуковская Н.Л.* Категории и символика традиционной культуры монголов. М., 1988.

¹¹ Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988.

¹² *Головнев А.В.* Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995; *Карпов Ю.Ю.* Женское пространство в культуре народов Кавказа. СПб., 2001.

¹³ *Хан-Магомедов С.О.* Рутульская архитектура. М., 1998; *Он же.* Цахурская архитектура. М., 1999; *Он же.* Дагестанские лабиринты. Проблемы автохтонности и типологии. М., 2000; *Он же.* Агульская архитектура. М., 2001; *Он же.* Даг-бары и Дербентская крепость. М., 2002.

¹⁴ Философскую интерпретацию проблемы см. в статье: *Никулин Д.В.* Пространство // Новая философская энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 370–372.

¹⁵ *Филитов А.* Гетеротопология родных просторов // Отеч. зап. 2002. № 6(7). С. 48.

¹⁶ *Каганский В.* Невменяемое пространство // Отеч. зап. 2002. № 6(7). С. 15.

¹⁷ Там же. С. 15.

¹⁸ Об этом см.: *Тишков В.А.* Забыть о нации (постнационалистическое понимание национализма) // Вопр. философии. 1998. № 9. С. 3–26.

¹⁹ *Каганский В.* Указ. соч. С. 18.

²⁰ Там же.

²¹ *Smith A.* The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986.

²² См.: *Бродель Ф.* Что такое Франция? / Пер. с фр. / Под ред. В. Мильчиной. Кн. 1. М., 1994. С. 80–81.

²³ *Бикбов А.* Социальное пространство как физическое: иллюзии и уловки // Отеч. зап. 2002. № 6(7). С. 63.

²⁴ Там же. С. 64.

²⁵ Там же.

²⁶ *Тишков В.А.* Указ. соч.

- ²⁷ Бердяев Н.А. О власти пространств над русской душой // *Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Судьба России.* М., 1997. С. 279, 281.
- ²⁸ Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен до наших дней. 2-е изд. М., 1876.
- ²⁹ Филиппов А. Указ. соч. С. 49.
- ³⁰ См. Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. М., 2001.
- ³¹ См., напр.: Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д.Н. Замятин / Под общ. ред. Д.Н. Замятина. М., 1994.
- ³² Филиппов А. Указ. соч. С. 49.
- ³³ Там же. С. 50.
- ³⁴ Там же. С. 51.
- ³⁵ Это понятие является ключевым для многих специалистов по антропологии пространства. См. полезную, но чрезвычайно усложненную статью о пространственной организации ведущего специалиста в этой области А. Рапопорта: *Rapoport A. Spatial organization and the built environment // Companion Encyclopedia of Anthropology / Ed. T. Ingold. L.; N. Y., 1998. P. 460–502.*
- ³⁶ Антропологическая интерпретация времени была дана мною на предыдущем конгрессе в Нальчике. См.: *Тишков В.А. Восприятие времени // ЭО. 2002. № 3.*
- ³⁷ См. прекрасную книгу на эту тему: *Утехин И. Очерки коммунального быта.* СПб., 2001, а также виртуальный музей на сайте: www.kommunalka.spb.ru
- ³⁸ Пример современных археологических осмыслений проблемы “пространство – культура” см.: *Русь в XIII веке / Под ред. Н.А. Макарова. М., 2002, в частности статьи Н.А. Макарова и С.Д. Захарова.*
- ³⁹ *Rykwert J. The Idea of a Town. Princeton, 1980.*
- ⁴⁰ См.: *Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Кн. 1. М., 1993.*
- ⁴¹ *Трейвиш А. Город и страна (Инерция российского пространства и динамика его главных центров) // Отеч. зап. 2002. № 6(7). С. 365.*
- ⁴² См. особенно его последнюю книгу: *Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001.*
- ⁴³ *Вишневецкий А.Г. Серп и рубль. М., 1998. С. 95.*
- ⁴⁴ *Трейвиш А. Указ. соч. С. 365.*
- ⁴⁵ См.: *Мионов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1. СПб., 1999. С. 286; Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. М., 2001. С. 77.*
- ⁴⁶ *Трейвиш А. Указ. соч. С. 374.*
- ⁴⁷ *Каганский В. Культурный ландшафт... С. 251.*
- ⁴⁸ Там же. С. 368–369.
- ⁴⁹ См. интересное исследование известного английского антрополога, специалиста по сибирскому региону Кэралайн Хамфри о повседневных экономических практиках сельского и городского населения в постсоветский период: *Humphrey C. The Unmaking of Soviet Life. Everyday Economies after Socialism. Ithaca; London, 2002.*
- ⁵⁰ В книге А.А. Казанкова хороший обзор литературы и проблематики по территориальности человека: *Казанков А.А. Агрессия в архаических обществах. М., 2002 (Сер. “Цивилизационное измерение”. Т. 3); Ardrey R. The Territorial Imperative. N.Y., 1966; Dyson-Hudson R., Smyth E.A. Human Territoriality: An Ecological Reassessment // American Anthropologist. 1978. Vol. 80. P. 21–41.*
- ⁵¹ См.: *Замятина Н. Новые образы пространства России (по официальным сайтам субъектов РФ в Интернете) // Отеч. зап. 2002. № 6(7). С. 212–221.*

V.A. T i s h k o v. The Cultural Meaning of the Space

The paper presented at the Vth Congress of the ethnologists and anthropologists of Russia (June 2003, Omsk) emphasizes the fact that spatial practices and lived space, which unites ideas and practices, are lacking the attention of researchers. The author tries to look at the problem in a wider theoretical and interdisciplinary context of socio-cultural anthropology. The focus of the Russian anthropology on the traditional and the archaic is also the object of the author's critique, when he suggests that contemporaneous bears the elements of both the tradition and the archaic. The theory of cultural space, the meanings and factors of spatial human movement, spatial signification and spatial centering, the historical dynamics of spatial networks, spatial boundaries and their images are among the subjects of the paper.